

# СОДЕРЖАНИЕ

От составителя .....	9
Кшиштоф Занусси. Предисловие .....	11

## АВТОБИОГРАФИЯ

О себе .....	19
--------------	----

## КИНОЛЮБИТЕЛЬ

<b>Драматургия действительности.</b> Фрагмент дипломной работы .....	145
<b>КИНОЛЮБИТЕЛЬ.</b> Сценарий .....	149

## СЛУЧАЙ

<b>Не вширь, а вглубь.</b> Статья .....	197
<b>СЛУЧАЙ.</b> Сценарий .....	202

## БЕЗ КОНЦА

<b>СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ.</b> Сценарий .....	233
---	-----

## ДЕКАЛОГ

**Обо мне, о тебе, обо всех.** Разговор с Марией Маршалек ..... 281

### ДЕКАЛОГ. Сценарии

Декалог I ..... 289

Декалог II ..... 308

Декалог III ..... 324

Декалог IV ..... 340

Декалог V ..... 358

Декалог VI ..... 380

Декалог VII ..... 403

Декалог VIII ..... 420

Декалог IX ..... 433

Декалог X ..... 458

**Без меня.** Разговор с Боженой Яницкой ..... 483

**Про “Короткий фильм о любви”.** Разговор с Юбером Ниогре ..... 489

**Нормальный момент.** Разговор с Тадеушем Соболевским ..... 496

## ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРОНИКИ

**Дневник (1989–1990)** ..... 509

**ХОРИСТКА.** Сценарий ..... 515

**От польской Вероники к французской Вероник.** Разговор  
с Юбером Ниогре и Мишелем Симаном ..... 569

**Это дерево есть.** Разговор с Кшиштофом Песевичем  
и Тадеушем Щепаньским ..... 577

## ТРИ ЦВЕТА

**Прекрасные лозунги и тайна.** Разговор с Хироши Таканаши ..... 591

**ТРИ ЦВЕТА. СИНИЙ.** Сценарий ..... 596

**Синий леденец.** Разговор с Тадеушем Соболевским ..... 653

**ТРИ ЦВЕТА. БЕЛЫЙ.** Сценарий ..... 658

**Ключ к живому чувству.** Разговор с Тадеушем Соболевским ..... 714

<b>ТРИ ЦВЕТА. КРАСНЫЙ.</b> Сценарий .....	718
<b>За кулисами.</b> Разговор с Тадеушем Соболевским .....	770
<b>Прошлое, настоящее... будущее?</b> Разговор с Кристин МакКенна .....	774
<b>Внутренняя жизнь — единственное, что меня интересует.</b>	
Разговор с Полом Коутсом .....	778
<b>Те же вопросы.</b> Разговор с Тадеушем Соболевским .....	791
<b>Мы вырываемся из рук Господа.</b> Разговор с Агатой Отребской и Яцеком Блахом .....	795
Фильмография Кшиштофа Кесьлёвского .....	811

# АВТОБИОГРАФИЯ

© Krzysztof Kieślowski, 1993  
© Danusia Stok, 1993

# О СЕБЕ\*

*Перевод Ирины Адельгейм при участии Олега Дормана*

## Эпиграф

Кино — это не публика, фестивали, рецензии, интервью. Это подъем в шесть утра. Это холод, дождь, грязь и тяжеленные юпитеры. Нервотрепка, которая нередко отодвигает на задний план все — семью, чувства, личную жизнь. Конечно, то же самое скажет о своей работе машинист, торговец, банкир. И наверное, будет прав, но я работаю в кино — и пишу о своем.

Вероятно, пора оставить это дело. Мне больше недостает важнейшего качества, без которого нет кинематографиста, — терпения. Терпения, необходимого, чтобы работать с актерами и оператором, мириться с погодой, с вынужденными простоями, с тем, что все получается не так, как мне бы хотелось. Причем я не имею права подавать виду. Мне стоит больших усилий скрывать свое раздражение от съемочной группы. Думаю, люди неравнодушные знают, как это тяжело дается.

Кино во всем мире делается примерно одинаково. В небольшом съемочном павильоне мне выделяют уголок; какой-нибудь диванчик, стол, стулья. В этом искусственном интерьере мои грозные команды “Тишина! Мотор! Начали!” звучат гротескно. Меня снова мучит мысль, что я занимаюсь чем-то несерьезным. Несколько лет назад французская “Либерасьон” провела среди режиссеров опрос: зачем они снимают кино. Я тогда сказал: “Потому что больше ничего не умею”. Это был самый короткий ответ, возможно, поэтому его заметили. А может, потому, что мы, кинематографисты, при всем, что мы из себя строим, при тех деньгах, которые тратим на съемки и которые зарабатываем, при всех претензиях на собственную избранность, очень часто испытываем ощущение абсурдности своей работы. Я понимаю Феллини и многих других, которые возводят улицы с домами и создают искусственные моря в павильоне: чтобы как можно меньше посторонних глаз наблюдало за этим постыдным и легкомысленным делом — работой режиссера.

\* Впервые записи бесед Дануты Сток с Кшиштофом Кесьлёвским были изданы в переводе на английский в 1993 году. В то время кинорежиссер возражал против публикации книги в Польше, и по-польски она появилась только после смерти Кесьлёвского, в 1997-м. При ее подготовке Данутой Сток был сделан ряд сокращений. В настоящей публикации, основанной на переводе польского текста, эти купюры восстановлены. Сверху польского и английского изданий и перевод английского текста осуществил Олег Дорман.

Но часто в минуты сомнений вдруг случается что-то, что, пусть на миг, развеивает ощущение идиотизма. Вот, например, сегодня: четыре молодых французских актрисы в случайном месте, в неподходящих костюмах, с воображаемым реквизитом и партнерами играют так прекрасно, что все становится настоящим. Они произносят какие-то реплики, улыбаются, грустят — и я вдруг понимаю, зачем это все.

## Глава 1

### Возвращение домой

В варшавском аэропорту, как всегда, полчаса ждем багажа. Лента транспортера ходит по кругу, и вместе с ней кружатся окурок, зонтик, наклейка отеля “Мариотт”, пряжка от чемоданного ремня и чистый белый платок. Тут запрещено, но я закуриваю. Рядом на единственных четырех стульях все это время сидят четыре носильщика.

—Здесь нельзя курить, шеф, — замечает один.

—А сидеть и бездельничать можно? — спрашиваю.

—Бездельничать в Польше всегда можно, — отзывается другой.

Они гогочут. У одного не хватает двух верхних зубов, у другого — клыков и второго справа. У третьего зубов нет совсем, но он и постарше, за пятьдесят. У четвертого, лет тридцати, все зубы на месте. Багажа я жду еще минут двадцать, в общей сложности — около часа. Поскольку мы теперь знакомы, носильщики ничего не говорят, когда я закуриваю вторую.

В центре Варшавы тысячи торговцев продают с машин мясо, полотенца, обувь, хлеб и сахар. Проще что-нибудь купить, чем пройти мимо. На тротуарах разложены товары из Западного Берлина, из самых дешевых магазинов — “Билки”, “Квелле” — или от кройцбергских турок. Шоколад, телевизоры, фрукты — все на свете. Стоит дядька с банкой из-под пива.

—Пустая? — спрашиваю.

Он кивает.

—Сколько?

—Пятьсот злотых (старых).

Впечатленный, на мгновение задумываюсь, и дядька, видимо, решает, что я готов купить. Уговаривает:

—За четыреста отдам.

Спрашиваю:

—Да зачем мне пустая банка из-под пива?

—А это уж ваше дело. Купите — и делайте с ней, что хотите.

Моя любовь к Польше сродни любви в долгом браке — муж и жена все друг о друге знают, слегка друг другу поднадоели, но если не станет одно-

го, через месяц умрет и другой. Честно говоря, не представляю себе жизни без Польши. Мне трудно на Западе, несмотря на прекрасные условия; несмотря на то, что на дорогах водители любезно пропускают, а в магазинах говорят “добрый день”. Все равно, думая о будущем, не представляю себя где-нибудь, кроме Польши.

Я не чувствую себя гражданином мира — продолжаю ощущать себя поляком. В сущности, все, что касается Польши, касается и лично меня: у меня не возникло дистанции, позволяющей относиться к этому отстраненно. Политические игры меня уже не касаются и не волнуют, а Польша — да. Это мой мир. Из него я вышел, и в нем, скорее всего, умру.

Когда я не дома, это всегда означает — ненадолго, проездом. Даже прожив за границей год или два, не могу избавиться от ощущения временности. Иначе говоря, приехав в Польшу, я чувствую, что вернулся, понимаю, что возвратился. У человека должно быть место, куда он возвращается. Для меня это Польша, дом в Варшаве, дом в Кошке на Мазурах. Приехав в Париж, я не чувствую, что вернулся. В Париж я приезжаю. Возвращаюсь только в Польшу.

Отец был для меня самым главным — возможно потому, что так рано умер. Мама тоже была важна; во многом из-за нее я и решил пойти учиться в Лодзинскую киношколу.

Помню, как поступал туда во второй раз. Мы с мамой договорились встретиться после экзамена в Варшаве, на Замковой площади, у эскалатора. Она, наверное, надеялась, что меня примут, но я уже понял, что и на этот раз тоже ничего не получится. Поднялся на эскалаторе, вышел на улицу. Лило как из ведра. Мама промокла насквозь. Я сказал, что опять провалился; она страшно расстроилась. “Послушай, — говорит, — а может, ты просто не годишься для этого дела?” Не знаю, плакала она или так казалось из-за дождя, но мне стало ее ужасно жалко. Именно тогда я и решил поступить во что бы то ни стало. Докажу им, что гожусь. Хотя бы ради мамы, раз она так огорчается.

Мы жили довольно бедно. Отец — инженер-строитель, мама — служащая. Отец был болен туберкулезом и двенадцать послевоенных лет от этого туберкулеза умирал. Ездил по санаториям, а мы с мамой и сестрой за ним, хотели быть все вместе. Отец лежал в санатории, а мама находила работу поблизости в какой-нибудь конторе. Потом отца отправляли в другой санаторий, мы перебирались на новое место, и мама работала в конторе там.

В жизни очень многое зависит от того, кто в детстве за завтраком давал тебе по рукам. То есть кто был отец, кто бабушка, кто прадед. Вообще, откуда ты взялся. Это очень важно. Кто давал по рукам за завтраком, когда тебе было четыре года, и кто позже положил тебе первую книжку под елку или на гумбочку у кровати... Книги, которые мне доставались, в огромной степени меня сформировали. То есть научили чему-то очень важному. Пожалуй, я даже знаю чему: чувствовать. И пожалуй, знаю зачем.

В отрочестве у меня были слабые легкие, опасались туберкулеза. Конечно, я, как все мальчишки, часто играл в футбол, катался на велосипеде, но из-за болезни проводил много времени на балконе или веранде: укрытый пледом, дышал свежим воздухом. У меня оставалось полно времени для книг. Вначале мне читала мама. Потом, довольно быстро, я научился читать сам. Порой по ночам, при свете ночника или свечи, иногда под одеялом. Часто до утра.

Конечно, мир, в котором я жил, мир моих приятелей, велосипедов, бегов, катания на лыжах, смастеренных из обручей для бочек, в которых квасили капусту, — это был настоящий мир. Но не менее настоящим был и мир книг, мир историй. Не скажу, что это был мир Достоевского и Камю, хотя они тоже присутствовали, — нет, это был мир невероятных приключений, индейцев, ковбоев и Тома Сойера. Плохая литература вперемешку с хорошей. И то и другое я читал запоем, и сомневаюсь, что Достоевский дал мне тогда больше, чем третьеразрядный американский автор ковбойских романов. Я бы вообще не стал разделять прочитанное. Благодаря чтению я рано узнал, что существует нечто больше, чем то, что можно потрогать или купить в магазине.

Я не из тех, кто хорошо запоминает сны. Честно говоря, проснувшись, я их не помню — если вообще что-то снилось. Но в детстве, разумеется, снилось, что снится всем. Страшные сны, в которых я тщетно пытался откудато выбраться или кто-то за мной гнался. Конечно, как все дети, я летал во сне. Эти детские сны, цветные и черно-белые, я помню хорошо, хотя и как-то по-особому. Пересказать их я бы не сумел, но если какой-нибудь из них снится теперь — а они мне снятся, и хорошие, и плохие, — я сразу понимаю, что это тот, из детства.

Но есть кое-что другое, для меня, думаю, более важное. В моей памяти хранится множество событий, о которых я не могу сказать, произошли они на самом деле или кто-то мне о них рассказал. То есть я присваиваю случившееся с другими, зачастую забывая даже, у кого позаимствовал, у кого украл ту или иную историю. Краду и начинаю верить, что сам это пережил.

Всю жизнь помню несколько случаев из детства, которых точно не было, но я абсолютно уверен, что были. Никто из родных не в состоянии объяснить, в чем тут фокус, — то ли это старый сон, который задним числом материализовался и стал явью, то ли я неосознанно присвоил чей-то рассказ.

Например, прекрасно помню историю, которая недавно вспомнилась мне вновь, когда мы с сестрой и дочкой отправились кататься на лыжах. Проезжали Горчице, маленький городок на “возвращенных землях”\*, в котором эта история случилась в 1946 или 1947 году, когда мне было лет пять или шесть. Хорошо помню, как мама повела меня в детский сад. Навстречу

\* Западные польские земли, возвращенные Польше по итогам Второй мировой войны.

нам по улице шел слон. Прошел мимо и пошел дальше. Мама уверяла, что ничего подобного быть не могло. Да и откуда в 1946 году в послевоенной Польше, где картошки было не достать, — слон? Тем не менее я прекрасно помню эту сцену и выражение его глаз. Я совершенно убежден, что однажды, когда мы с мамой шли в детский сад, нам встретился слон. Он свернул налево и исчез. А мы пошли прямо. На слона никто не обращал внимания. Я уверен, что это было, хотя мама утверждала, что не было.

Есть истории, которые я краду и начинаю рассказывать, как будто это произошло со мной. И через какое-то время теряю контроль — начисто забываю, что история чужая, и начинаю сам верить, что она случилась со мной. Наверное, подобный механизм сработал и в истории со слонком. Вероятно, мне кто-то ее рассказал.

Недавно я засек, как это происходит. Дело было так: я отправился в Америку, где большая компания “Мирамакс” готовила прокат “Двойной жизни Вероники”. Фильм показали на нью-йоркском фестивале, и мне вдруг стало ясно, что американцы не понимают финала. Там есть сцена, когда Вероника возвращается в родимый дом, где живет ее отец. Но напрямую не сказано, что она приехала в отчий дом. Это подразумевается. Я знаю, что здесь, в Европе, сомнений ни у кого не возникает. В отличие от Америки. Для американцев вовсе не очевидно, что героиня возвращается в дом своего детства. Не очевидно, что человек в этом доме — ее отец. И уж во всяком случае, им не очень понятно, зачем, собственно, вообще туда возвращаться.

Для нас, европейцев, возвращение в родной дом обладает ценностью, укорененной в традиции, истории, культуре. О возвращении домой рассказывает, например, “Одиссея” — если обратиться к древности. Очень часто в литературе, театре, культуре родной дом становился воплощением некоей системы ценностей. А для нас, поляков, людей весьма романтических, это место значимо особенно, это существенный пункт нашей жизни. Поэтому в фильме такой финал. Но в Америке, оказалось, его никто не понимает, и я предложил сделать другой, чтобы американцам сразу было ясно: героиня возвращается в отчий дом. Перемонтировал последнюю сцену. А потом задумался: почему же все-таки они сами не поняли? Я не знаю Америки. Не понимаю ее. Но все же попытался разобраться, в чем тут дело. И вспомнил одну историю.

Я рассказал ее разным людям — журналистам, прокатчикам, коллегам. Но, рассказав несколько раз, вдруг понял, что ничего подобного никогда со мной не происходило: это история моего знакомого, которую я выдаю за свою. Мало того, что я ее присвоил, мало того, что уверяю всех, что она случилась со мной, я еще и сам в это поверил. И тут я осознал, что просто украл ее.

Обычно я рассказывал это так. Я будто бы лечу в Америку и рядом со мной в кресле — незнакомый тип. Настроения беседовать нет, хочется поспать или почитать книжку. Но сосед оказывается словоохотливым и заводит разговор. Ну, что поделаешь...

— Чем занимаешься? — спрашивает он.

— Снимаю кино, — говорю.

— Как интересно!

— Да, — отвечаю.

— Знаешь, а я делаю окна, — говорит он. — Это тоже очень интересно.

— Да, необычайно.

Конечно, я произнес это с иронией, но он ее не уловил и начал рассказывать. Оказалось, окна он делает в Германии, живет там же. Мы прекрасно друг друга понимали, потому что английским владели одинаково.

Так вот, он — владелец лучших, крупнейших в Германии фабрик по производству окон. Довольно дорогих, с гарантией на пятьдесят лет. Немцы, разумеется, охотно их покупают — они люди практичные и верят, что если дается гарантия на полвека, значит, окно полвека точно прослужит. Добившись блестящего успеха в Германии, этот человек, как всякий в чем-то преуспевший европеец, захотел повторить его и в Америке. И открыл там фабрику.

И вот он мне рассказывает: “Слушай. Я действительно делаю фантастические окна. Даю пятьдесят лет гарантии. Продаю по разумной цене. И — ни одного желающего. Ни единого. Я вложил уйму денег в рекламу: в прессе, на телевидении, где угодно. Рассылал буклеты, каталоги. Никто не покупает мои окна. Тогда я уменьшил гарантию до двадцати лет, а цену оставил прежнюю. И знаешь что? Дело пошло на лад. Снижаю гарантию до десяти лет, цена опять-таки прежняя — продажи увеличиваются в четыре раза. Вот теперь лечу в Америку открывать вторую фабрику. Гарантия пять лет, цена та же. Почему американцы предпочитают окна с гарантией пять лет, а не на полвека? Да они просто не представляют себе, как можно пятьдесят лет просидеть на одном месте”.

То есть идея родного дома как места, в котором сменяется поколение за поколением, американцам непонятна. Сами они без конца переезжают. И эту историю я принялся рассказывать в качестве своей собственной, объясняя отношение американцев к отчужденному дому.

Через какое-то время спохватился, что история чужая. Но поскольку была мне очень кстати — я ее присвоил. Спросите, как выглядел тот немец, якобы сидевший рядом со мной в самолете, — и я опишу его во всех подробностях, хотя никакой немец рядом не сидел. Но теперь это мой немец. Я его присвоил.

Думаю, мы храним в памяти очень многое, не отдавая себе отчета. Если долго и настойчиво пытаться, можно воскресить забытые образы и события. Нужно только очень хотеть и упорно стремиться к этому.

У меня есть такие “восстановленные” образы. Например, никто не мог рассказать мне о немце, набравшем воду из колодца. Я вижу эту картину: он прикладывает губы к воде, жадно пьет, откидывает голову назад, каска сползает, он придерживает ее рукой. И все, ни начала, ни продолжения. Картинка всплыла в памяти, когда я старался вспомнить раннее детство.

Потом немцы стали всех выселять. Мы уехали. После войны жили на “возвращенных землях”. В разных местах. Для нашей семьи это было хорошее время. Отец еще чувствовал себя прилично, работал. Последние годы, когда здоровье ему позволяло. У нас был дом. Настоящий, большой. Я ходил в детский сад. Жизнь складывалась неплохо. Раньше в нашем доме жили немцы. До сих пор у меня хранятся немецкий ножик и набор циркулей. Отец ими пользовался, когда чертил, а потом циркули достались мне. Помню еще немецкие книги. Одна из них, “Горы под солнцем”, стоит у меня на полке по сей день.

Где мы провели военные годы, не знаю, а теперь уже и спросить некого. Сохранились письма, какие-то документы, но ни один не проясняет, где именно мы жили. Сестра тоже не знает. Она родилась через три года после меня, в конце войны, в 1944 году. Известно, что место рождения — Стшемещиц, на границе той части Силезии, которая до войны принадлежала Польше. Во время войны это уже не имело значения — немцы были повсюду.

В Стшемещице жила бабушка по отцу. У нее мы и поселились, в какой-то маленькой комнатухе. Она прекрасно знала немецкий и русский и, поскольку в первые послевоенные годы особого спроса на учителей немецкого не было, стала преподавать русский. Я даже ходил в школу, где она работала.

Школ я сменил столько, что часто их путаю. Не помню, где в каком классе учился. Переходил из школы в школу два-три раза в год. В Стшемещице ходил, кажется, во второй или в третий класс, мне было лет семь-девять. Потом мы опять жили там, когда я учился в четвертом или в пятом. Успевал хорошо, хотя ни подлизой, ни зубрилой не был. Честно говоря, четверки и пятерки доставались мне без особого труда. Думаю, одноклассники меня любили — я им помогал, давал списывать, подсказывал.

Уровень провинциальных школ был тогда очень низким. Мне все давалось легко. Учеба не отнимала много времени. Ничего из пройденного в памяти не осталось. Даже таблицу умножения знаю нетвердо. Пишу с ошибками. Мало что выучил. Разве что несколько исторических дат.

Мы еще несколько раз возвращались в Стшемещице. Уезжали куда-то, потом снова приезжали — здесь всегда можно было перекантоваться. Жуткое местечко. Недавно я там побывал. Нашел наш дом, двор. Конечно, все оказалось меньше, мрачнее, грязнее, чем виделось тогда.

Не помню, чтобы в детстве кто-нибудь особенно плохо ко мне относился. Изредка били, вернее, пытались — обычно я успевал удрать. Как раз в Стшемещице, зимой, когда мы вечером возвращались с катания на санках или из школы. Была там компания мальчишек, у которых чесались руки мне надавать. Я был внуком учительницы — она время от времени ставила им колы, и они за это хотели отлупить меня. Никогда не рассказывал бабушке, так что точно не знаю, может, дело было не в отметках. Может, лупили за то, что не силезец. Верхняя Силезия — регион довольно

специфический. Адаптироваться там было трудно — силезцы говорили по-силезски и легко отличали “чужака”<sup>\*</sup>.

Нас с сестрой часто отправляли в так называемые профилактории для детей, предрасположенных к туберкулезу или просто ослабленных. Там был климат получше и более-менее приличное питание. Кормили по тем временам действительно неплохо. По утрам пару часов были уроки.

Вероятно, мы туда ездили потому, что родители едва сводили концы с концами. Отец все время болел. Мама зарабатывала всего ничего. А профилактории, скорее всего, были бесплатными. Родители страшно переживали эти разлуки, но другого выхода наверняка не было. При малейшей возможности они нас навещали. Мы с сестрой очень этого ждали. Обычно приезжала мама — отец подолгу не вставал с постели. Я их любил, и, думаю, они меня очень любили, поэтому жить в разлуке было тяжело. Но что поделаешь. Так сложилось.

Мы жили то в одной дыре, то в другой — в такой глухомани, куда даже коммунистическая власть не добралась. Я там ни разу не видел милиционера. Население — несколько сот человек. Учитель. Водитель автобуса, возившего в городок чуть покрупнее раз или два в день. И все. Нет, еще, конечно, директор санатория — наверное, партийный, — но его я, кажется, никогда не встречал. Понятия не имею, где я был, когда умер Сталин. Меня это не интересовало. Не уверен, что знал о его смерти. Скорее всего, нет.

Первый западный фильм (а может, это я тоже вообразил позднее) я посмотрел в Стшемещице. По-моему, “Фанфан-тюльпан” с Жераром Филиппом. Это была невероятная сенсация, потому что обычно показывали чешские, русские или польские фильмы. Я был еще маленьким — лет семь, может, восемь, — а на эту картину пускали, кажется, с шестнадцати. Как быть? Родители хотели, чтобы я посмотрел. Считали, что фильм хороший и мне понравится. Мой двоюродный дедушка (я называл его “дядей”), известный в городке врач, специально пошел на сеанс. Решил, что мне тоже можно, воспользовался своим авторитетом врача и договорился с директоршей кинотеатра, чтобы меня пустили. И я пошел. Но саму картину совершенно не помню. А ведь так готовился, так переживал — боялся, что не пустят.

Еще раза три мы жили в Соколовско, возле Еленя-Гуры, в Нижней Силезии. Из местечек моего детства это запомнилось мне лучше всего. Там тоже был санаторий, где лежал отец. Собственно, Соколовско был курорт — больше там ничего не было. Курорт, конечно, сильно сказано. При слове “курорт” мы представляем себе что-нибудь вроде Канн. На Канны это похоже не было. Крохотный городок с двумя или тремя санаториями.

\* Воспоминания Кесьлёвского не вполне точны. Стшемещице-Вельке — а речь явно идет о них — до войны действительно находились на границе, но в Домбровском бассейне, а не в Верхней Силезии. Следовательно, их жители не говорили на силезском диалекте. Теперь Стшемещице — часть Домбровы-Гурничей. (Прим. Д. Сток.)